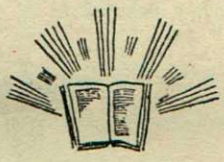
И 217/325

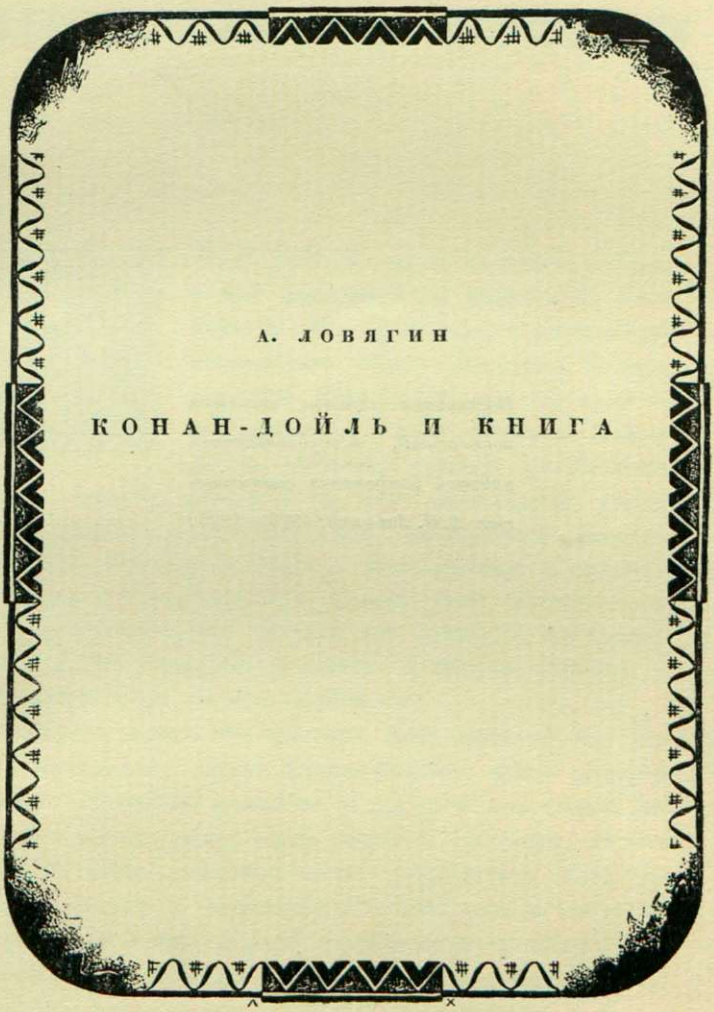
И 217/325 ЧЧ ВЧ

АЛЬМАНАХ БИБЛИОФИЛА



ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО БИБЛИОФИЛОВ

1929



А. ЛОВЯГИН

КОНАН-ДОЙЛЬ И КНИГА

Настоящая статья является посмертной, неопубликованной работой безвременно скончавшегося А. М. Ловягина (1870—1925)

ОНАН-ДОЙЛЬ — один из известнейших у нас иностранных писателей. Если назвать его фамилию, вспоминается немедленно образ Шерлока Холмса, капитана Жерара и др., но вряд ли кто вспомнит о дани, которую Конан-Дойль, подобно многим англичанам, отдал культу книги — о его небольшой книге, под странным заглавием «За магической дверью» («Trough the Magic Door»). Это — «книга о книгах», но не в том смысле, как у нас они составлялись в руководство при чтении, для создания определенного миросозерцания, а книга — о книгах дорогих и любимых, а не только полезных.

«Пусть более, чем скромна ваша книжная полка — так начинается книга Конан-Дойля — пусть убого и бедно убранство комнаты, в которой она стоит. Закройте только дверь этой комнаты за вами, уйдите от всех забот внешнего мира, погрузитесь всей душой в беседу с великими покойниками, и тогда вы через магический портал проникните в волшебную страну, куда за вами не сумеют пройти никакие вол-

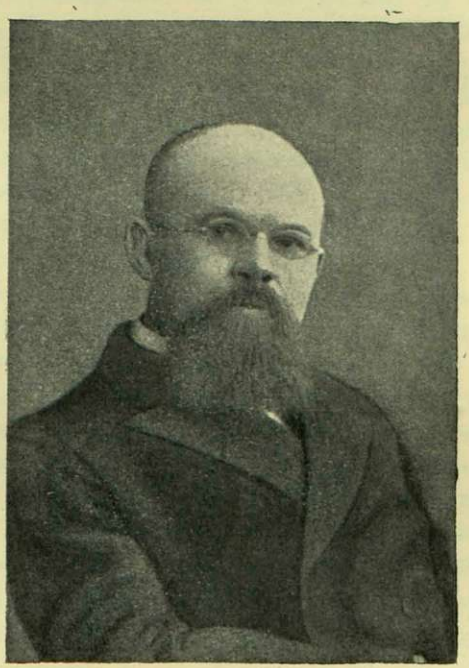
нения, никакие тревоги и заботы. Здесь вы можете оградить себя от всего пошлого, всего грязного. Вас охраняют здесь ваши благородные, молчаливые друзья. Вот они выстроились и ждут вас. Окиньте взором их ряды. Выберите того, кто вам по душе. Есть что-то волшебно-возвышенное в каждом ряде книг, хотя постоянная близость к ним и заглушила в вас это сознание. Каждая книга представляет собой как бы мумию души, забальзамированную в навощенный холст, дубленую кожу и типографскую краску. Каждый переплет хорошей книги заключает в себе как бы сгущенное существо человека. Тело писателя превратилось в прах, разлетающийся от дуновения, живая личность его получила образ блеклой тени, а дух его продолжает жить с нами».

«Привычка уничтожила в нас острое чувство радости обладания чудесным богатством, которое всегда в нашем распоряжении. Если бы мы случайно узнали, что Шекспир воскрес, что он готов уделить час на беседу с нами,—как бы жадно мы устремились к нему! А ведь, на самом деле, он здесь у нас — все лучшее что было в нем—здесь, у нашего локтя, не отходит от нас ни на один день, — и нам стоит только протянуть руку, чтобы подозвать его к себе. В каком бы настроении мы ни находились, нам стоит только зайти за магическую дверь, и величайшие люди мира отзовутся на наше настроение. Если вы склонны к глубоким размышлениям, то вот цари мысли человеческой. Если вы любите грезить, то вот мастера

воображения. Или вам нужно развлечься, рассеяться? Вы можете вызвать одного из величайших рассказчиков мира, и покойник явится и будет часами держать вас зачарованными. Покойники—такая хорошая компания, что можно, пожалуй, перестать ценить живущих. Для многих из нас возникает действительная опасность—никогда не найти своих собственных дум и своих собственных душ, а навсегда остаться в плену у покойников. Но ведь переживать роман, хотя бы чужой, и испытывать волнение, хотя бы чужое, наверное, лучше, чем дышать тусклою убивающей душу монотонностью той жизни, которая является уделом большинства людей. Но лучше всего, если мудрость покойников и пример их дадут нам сил и уменья прожить с пользой свои собственные дни забот и трудов».

«Пройдемтесь со мною за Магическую дверь и сядемте здесь на покойном зеленом кресле у дубового шкапа с его рядом неровных, захватанных переплетов. Можно, если хотите, курить. А я тем временем, если вы позволите, расскажу о том, что в шкапу. Для меня не может быть ничего более приятного. Ведь здесь в шкапу нет ни одного тома, который не был бы дорогим, личным моим другом. А вы знаете сами, что приятнее всего говорить о том, что кому дорого. Там дальше, в других шкапах, тоже имеются книги, но именно эти потрепанные томы—мои любимцы, это то, что я читаю и перечитываю, и люблю иметь возле себя. С каждым из этих потертых переплетов связаны дорогие воспоминания».

«Некоторые из них напоминают о понесенных маленьких жертвах; поэтому они вдвойне дороги. Вот ряд старых, темных корешков на нижней полке. Каждый из них стоил мне завтрака. Они были куплены в мои студенческие годы, когда приходилось не очень роскошествовать. Три пенса были моим скромным ассигнованием на бутерброды и стакан пива в полдень; не случайно мой путь на лекции шел мимо самой очаровательной в мире лавки букиниста. За дверьми стояла большая бочка, наполненная постоянно менявшимся запасом подержанных книг; над ней висел ярлык, гласивший, что любой том из бочки может быть приобретен как раз за ту сумму, которая у меня лежала в кармане. Когда я подходил к лавке, начиналась ожесточенная борьба между голодом молодого тела и алчностью пытливого всепожирающего духа. В пяти случаях из шести животное одерживало верх. Но когда победа оставалась за духом, тогда наступали несколько минут захватывающего душу копанья в старых календарях, фолиантах шотландских богословов и таблицах логарифмов, пока не удавалось найти что-нибудь действительно стоющее жертвы. Если вы посмотрите на эти заглавия, вы увидите, что мой выбор не был плох. Четыре тома Гордоновского «Тацита» (жизнь слишком коротка, чтобы читать подлинники, если имеются хорошие переводы), «Опыты» сэра Вильяма Темпля, сочинения Аддиссона, «Сказка о бочке» Свифта, «История» Кларендона, «Жиль Блаз», стихотворения



Александр Михайлович
Ловягин

Бэккингэма, стихотворения Черчилля, «Жизнеописание Бэкона» — все это не плохо для старой трехпенсовой бочки» («Сказку о бочке» правильнее было бы переводить «Небывальщины», но у нас почему то ее переводят так; Бэккингэм и Черчилль поэты XVIII века, ныне забытые).

«Эти книги не всегда находились в такой плебейской обстановке. Посмотрите на толщину богатого кожаного переплета и на богатство потускневшего золотого тиснения. Когда-то они украшали собой полки аристократической библиотеки, и даже среди старых проповедей и календарей они сохраняли следы былого величия; подобно выцветшему шелковому наряду обедневшей дамы света, они свидетельствовали о печальном сегодня и славном вчера».

«Теперь чтение стало очень легким делом благодаря дешевым изданиям в обложках и общественным библиотекам. Никто не ценит, как следует, того, что ему достается без труда. Разве кто-нибудь теперь испытает то волнение, которым был охвачен Карлейль, когда он бежал домой с шестью томами «Истории» Гиббона под мышками, чтобы потом алчно поглощать их по тому в день? Только когда книга вам достанется ценою действительных жертв и волнений, вы сумеете проникнуться к ней любовью и уважением и оцените ее по достоинству» (стр. 5—10).

Можно найти недостатки в этих излияниях чувств автора, можно их назвать слишком сентиментальными, наивными, даже — мало оригинальными, но, как бы

строго не отнестись к ним, в одном им нельзя отказать, это строки, написанные истинным книголюбцем, строки искренние, вызывающие сочувственный отзвук в душе каждого любителя книги. Они дают полное право Конан-Дойлю быть зачисленным в ряды убежденных библиофилов, и в издания, в роде «The Book-lover's Anthology» R. M. Leonard'a (Oxford, 1911), должны со временем войти страницы, посвященные книге Конан-Дойлем.

Но книга нашего автора не есть только славословие книги вообще. Подобно сэру Джону Леббоку, он интересуется вопросом, что можно рекомендовать читателю для чтения, и, основываясь на личном своем опыте, старается ответить на этот вопрос. Ответ не имеет характера систематического перечисления. Ведь рекомендуются книги не для получения каких-либо определенных знаний: рекомендуются не книги-учителя, а книги-друзья, такие, которые были бы всего более отзывчивы, всего более отвечали бы запросам читателя—но конечно, читателя, обладающего сходством во вкусах и взглядах с автором.

Книга касается очень многих авторов, не только английских, но и иностранных, даже русских. Конан-Дойль, сам писавший исторические романы, очень интересовался этой отраслью литературы у других наций; он знаком с «Войной и Миром» и ставит очень высоко этот роман, знаком и с историческими романами Мережковского, из которых «Воскресшие Боги» произвели на него особенно глубокое впечатление.

Но не о всех книгах и о всех авторах, которых он упоминает (перечисление их дано в указателе в конце книги), он говорит, однако, подробно, и, нам кажется, не безъинтересно и не бесполезно будет ознакомиться с теми книгами, на которые Конан-Дойль считает необходимым обратить особое внимание читателя.

На первом месте у него два историка.

«Если-бы — говорит он — мне из всего ряда книг в моем шкапу пришлось указать одну, доставившую мне больше всего удовольствия и больше всего пользы, я показал бы вот на этот захватанный том «Опытов» *Маколея*. Оглядываясь назад, я вижу его тесно связанным со всей моей жизнью. Он был моим другом в дни студенчества, он сопровождал меня на раскаленном Золотом берегу, он составлял часть моего скромного багажа, когда я ходил с китоловами в Арктический океан. Честные шотландские гарпунщики напрягали свои мозги над ним, и вы еще можете видеть жировые пятна в тех местах, где младший машинист старался разобраться в «Фридрихе Великом». Рваный, грязный и мятый, он для меня не может быть заменен никаким золотообрезным экземпляром, переплетенным в дорогой сафьян» (стр. 10—11).

Другой любимый историк — *Гиббон*.

«Если бы меня приговорили провести год на необитаемом острове, и разрешили иметь с собой только одну книгу, то, наверное, я выбрал бы эту (Гиббона). Подумайте только, как исполински велик его охват, и что за пищу для мысли содержат эти томы. Книга

Гиббона прикрывает тысячелетия мировой истории, она полна и точна и добросовестна, ее миропонимание — широкое, философское, ее стиль исполнен достоинства и величия. По нынешним нашим взглядам его манера несколько помпезна, но ведь он жил в век, когда напыщенные переводы Джонсона испортили наш литературный язык. Лично мне велеречивость Гиббона нравится. Фраза должна быть размерена и звучна, когда она берется изобразить движение римского легиона или прения в сенате. Этот стиль возвышает читателя, а ясная здравая мысль автора, его чувство справедливости все время руководят читателем и учат, как разбираться в явлениях. Где-то глубоко под собою вы видите развертывающиеся картины борьбы наций, столкновений рас, возвышения и падения династий, споры из-за веры, а сами вы спокойно парите над всем этим, и, по мере того, как панорама раскрывается перед вами, спокойный, бесстрастный, величавый голос тихо поясняет вам, что значат те сцены, которые проходят перед вашими глазами» (стр. 69—70).

В другом месте книги мы узнаем, что в XIX веке вкусы Конан-Дойля на стороне американских историков, особенно *Паркмана* (стр. 20—22).

За историками следуют беллетристы и литературные критики.

«Романы *Вальтер Скотта*—первые книги, которые составляли мою собственность задолго, очень долго до того, как я научился ценить и понимать их.

В детстве я читал их тайком по ночам при огарке свечи, и запретность поступка придавала ему еще большую прелесть для меня» (стр. 26). Из отдельных романов Скотта лучшим Конан-Дойль считает «Айвенго», «второй по достоинству исторический роман на английском языке». Какой английский исторический роман наш автор считает первым, мы увидим ниже. За «Айвенго» следует «Квентин Дорвард» с его резко очерченными характерами исторических персонажей и темой, затрагивающей события общеевропейской важности (стр. 35—36). Биография Скотта заставляет Конан-Дойля сделать такого рода замечание: «Что за жалость, что человек, так великолепно умевший изображать солдат, дал так мало о солдатах, бывших его современниками — может быть, лучших солдатах, которых мир видел. Правда, он написал жизнеописание великого солдатского императора, но это был единственный подневольный труд в его писательской карьере. Да и мог ли Торийский патриот, который по всему воспитанию своему должен был смотреть на Наполеона, как на злого демона, дать справедливую оценку его?—Впрочем, никто не понимает истинного значения того времени, в котором он живет.—Старые мастера рисовали харчевни и святых Севастьянов, когда Колумб на их глазах открыл Новый Свет» (стр. 34—35).

Ассоциация по месту—расположение на ближней полке ведет от Скотта к *Самьюэлю Джонсону*, не к его «Словарю» или его собственным произведениям, а

к 4-м толстым томам его жизнеописания, написанного *Босвеллем* и несколько иронически охарактеризованного Маколеем. Конан-Дойль берет Босвелля под свою защиту: «Легко отнестись свысока к Босвеллю, как это сделал Маколей, но не случайно человек пишет лучшую литературную биографию, какая только есть на английском языке. В многочисленных спорах его с Джонсоном, всякий раз, когда он осмеливался возражать вплоть до грозного окрика: «Нет, сэр», замыкавшего ему уста — редко только встречаются случаи, где последующее время доказало бы ошибочность именно его взглядов. В таких важных вопросах, как американская революция, судьба ганноверской династии, религиозная терпимость — мнения Босвелля, а не Джонсона, оказались соответствующими действительности» (стр. 53).

От Босвелля опят переход к беллетристам, которым теперь уделяется большая часть остающихся страниц.

Первым назван *Эдгар По.*

«По, по моему мнению, величайший и оригинальнейший автор новелл—мелких рассказов. Он рассыпал семена, которые беспорядочно развеялись по всему полю литературы и от которых пустили ростки почти все мотивы и сюжеты современных новелл. Сделал он это, как он все делал, беспечно и расточительно, только редко возвращаясь сам к какому-либо использованному уже удачному мотиву, а обычно создавая все новое и новое. От него ведет начало чудовищное

поколение писателей, специализировавшихся на раскрытии преступлений. «Quorum pars parva fui». Каждый из таких писателей, наверное, проходил свою собственную эволюцию, но главным импульсом для всех были удивительные истории Monsieur Dupin'a, столь чудесные по своей мастерской силе, по уменью до развязки скрывать истину, по живой, драматической смене явлений. По первый указал, какой нужен острый ум для обнаружения скрытого преступления, какими качествами должен обладать сыщик, и, после данных им великолепных образцов, всем последующим авторам оставалось уже только идти по проторенной тропе. Но По создатель не только сыщицкого жанра; все поиски сокровищ, все мотивы с замысловатой отгадкой криптограмм восходят к его «Золотому жуку» (Gold Bug), равно как и все псевдонаучные истории á la Верн и Уэллс имеют свои прототипы в «Путешествии на луну» и в «Случае с Mr. Вальдемаром» (стр. 114—115).

После По наш автор ставит *Стивенсона* и *Киплинга*, отдавая явное предпочтение первому и считая самым мастерским его произведением «Страшную историю д-ра Джекилля и м-ра Хайда» (стр. 117). «Классик ли Стивенсон?» — спрашивает он в другом месте. — «Это очень громкое слово. Классическим называется произведение, которое входит навсегда в литературу страны. Обычно мы начинаем почитать наших классиков только уже после того, как они улягутся в могилы. Решение принадлежит нашим

внукам». Сам он, однако, склонен думать, что для детского и юношеского возраста Стивенсон никогда не потеряет своей притягательной силы.

От мелких рассказов автор переходит к романам. И вот здесь дается ответ на вопрос, какой в английской литературе лучший исторический роман. Многие ставят на первое место «Эсмонд» Теккерея (стр. 128), но Конан-Дойль полагает, что, по справедливости, величайшим историческим романом в Англии следует считать «Монастырь и любовь» (точнее «Монастырь и очаг») *Чарльза Рида*. Из произведений иностранной литературы он находит возможным поставить с ним рядом только «Войну и Мир», находя между авторами ту разницу, что англичанин более романтичен, а русский более реалистичен и серьезен. Другие произведения Чарльза Рида, Конан-Дойль не считает равноценными названному. «Рид—говорит он—в лучшем, один из лучших в английской литературе, а в худшем—ниже провинциальной мелодрамы. У него всегда шелк среди шерсти, но среди шелка всегда шерсть».

Наряду с «Монастырем и любовью»—«Базар житейской суеты» *Теккерея* и «Ричард Феверель» *Мередита* являются лучшими произведениями литературы века Виктории (стр. 153). Из более ранних романов Конан-Дойль рекомендует читателю не забывать произведений *Фильдинга*, *Ричардсона*, *Смоллета*, своеобразная прелесть которых не потеряла привлекательности и для современного читателя (стр. 136). Характерно, что Диккенса Конан-Дойль хотя и

упоминает, но лишь мимоходом, не уделяя ему даже ни одной целой фразы, но зато с любовью останавливается на мало известном вне пределов Англии — *Джордже Борроу*, авторе романа «Lavengro», привлекающем Конан-Дойля, главным образом, своим великолепным языком. Сцена бокса, описанная Борроу, заставляет Конан-Дойля остановиться на чисто национальной части его книгохранилища — на трех томах «Pugilistica», специально посвященных кулачному бою — боксу (стр. 105).

Далее следует отдел, посвященный литературе мемуаров.

Здесь на первом месте английский Казанова — *Пепс* (Pepys) со своим «Дневником». Книгу эту Конан-Дойль считает замечательной уже по одному тому, что «англичане, как раса, слишком боятся откровенности, чтобы дать хорошую автобиографию». Отмечу два его замечания о Пепсе: «Удивительная вещь, которая вряд-ли будет когда-либо объяснена: ради чего Пепс принял на себя бесконечный труд записи стенографическим шифром не только разных тривиальностей жизни, но и собственных своих неблаговидных действий, которые всякий другой рад бы был поскорее забыть». Это замечание как нельзя лучше иллюстрирует характеристику отношения англичан к автобиографиям, даваемую самим Конан-Дойлем.

Другое замечание касается чрезвычайной популярности музыки в Англии во времена Пепса: все или пели, или играли на каком-либо инструменте. «Не

во многом приходится завидовать дням Карла II, но это преимущество они имели перед нашими... Особенно удивительно это для страны, где за последнее столетие не было ни одного первоклассного музыканта» (стр. 90).

Интерес к наполеоновской эпохе сказывается на любви Конан-Дойля к мемуарам этого времени. В особой восторг приводит его мемуары *Марбо*, по его словам—лучшая из всех солдатских книг в мире. Он останавливается еще на мемуарах M-me *де-Ремюза*, а из более старых—для времени Людовика XIV—на *Сен-Симоне*, для средневековья—на *Фруассаре* и *де-Комине*. Повидимому, эта литература мемуаров была изучена им при написании собственных исторических романов. Как известно, его сначала привлекали именно средневековые сюжеты.

От мемуаров идет переход к путешествиям, из которых пальма первенства вручается «Малайскому архипелагу» *Уоллеса* и путешествию *Дарвина* на «Бигле». Ливингстон, Стэнли и Бэкер, увлекавшие юношество и взрослых людей на континенте, обходятся полным молчанием.

Последний отдел—научное чтение. «Если бы—говорит автор—мне пришлось давать советы молодому человеку, только что начинающему жизнь, я бы посоветовал ему посвящать один вечер в неделю чтению по наукам. Если у него окажется упорство, чтобы осуществить это решение, то годам к 30-ти у него собрался бы необычайный запас знаний,

который мог бы быть полезен ему на любом поприще жизни. Вы не можете, конечно, надеяться быть специалистом по самым разнообразным вопросам. Но вы можете иметь общее представление о главных результатах исследований и понятие об отношениях между этими результатами». Совет этот сводится к изучению начал геологии, зоологии, ботаники, археологии, астрономии и др.

В самом конце книги, посвятив сначала еще несколько строк Стивенсону, Конан-Дойль возвращается к исходному пункту—к любви к книге. «Мои суждения о книгах—говорит он—может быть, были очень далеки от ваших; но самые размышления и беседа о книгах уже вещь хорошая, независимо от того, какое вы им дадите применение» (стр. 265).

Эта мысль автора лежит в основе и настоящей статьи. Мы признаем, что автор не принадлежит к очень крупным литературным талантам и великим умам; иногда его отзывы наивны, иногда он проявляет незнание того, о чем берется судить (например, о русских солдатских песнях на стр. 32), но мы имеем в его лице несомненно образованного, выше среднего уровня стоящего англичанина, со всеми расовыми достоинствами и недостатками, и как показатель взглядов, вкусов и интересов не индивидуальных, но типичных (иначе они не были бы напечатаны), книга Конан-Дойля должна заинтересовать книговеда.